

18+

Соня Пучкова

С НОВЫЙ ДЕНЬ

*Коллекция повестей и рассказов
для ежедневного чтения*

Соня Пучкова

**Новый день. Коллекция
повестей и рассказов
для медленного чтения**

«Издательские решения»

Пучкова С.

Новый день. Коллекция повестей и рассказов для медленного чтения / С. Пучкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-504067-1

Бывают встречи — как столкновения, которые сбивают с ног. Жил себе жил простой человек, встретился с другим, и вот, как с ног сбили. А потом поднимается, и вокруг... новый день. Казалось бы, просто с человеком познакомился, а у тебя тут с этого знакомства новая жизнь началась.

ISBN 978-5-00-504067-1

© Пучкова С.
© Издательские решения

Содержание

Писательница	6
Пролог, в котором мы знакомимся с Писательницей и писательским обществом	6
Глава первая, в которой писатели проводят литературный вечер	10
Глава вторая, в которой Писательница впервые начинает писать	18
Глава третья, в которой Писательница знакомится с кабаном и получает рецензию на свой рассказ	23
Глава четвёртая, в которой Писательница становится Катей и начинает общаться с филистерами	30
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Новый день

Коллекция повестей и рассказов

для медленного чтения

Соня Пучкова

*...доколе не начнёт рассветать день и
не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших.*

2 Пет 1:19

Корректор Варвара Сеницына

© Соня Пучкова, 2023

ISBN 978-5-0050-4067-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Писательница

Пролог, в котором мы знакомимся с Писательницей и писательским обществом

В одном провинциальном городке жила писательница. В общем-то, надо поправить себя: наша героиня ничего не писала, хотя сочиняла с детства. Но когда мы встретились с ней, все её уже называли Писательницей.

Было нашей героине тогда всего восемнадцать. Все почему-то путали её с тринадцатилетним мальчишкой, щупленьким и худеньким. Наверное, потому что она так и выглядела. Да и забавы её были не как у девочки. Писательница в детстве никогда не играла в куклы. Залезть на дерево, нарвать тайком у соседей по даче яблок или слив, гонять на скрипучем велосипеде по кочкам и лужам, вываливаться в грязи, стрелять из самодельного лука или из рогатки по голубям или курам – это то, что наша Писательница любила делать. Но только теоретически, потому что родители очень любили свою дочь и не давали и шагу сделать без присмотра. Необузданная фантазия и темперамент, которые заключили в стены двухкомнатной городской квартиры, наверное, и подвигли Писательницу к чтению захватывающих историй, а потом и сочинительству.

У неё мало было друзей, поэтому пришлось их придумать. Таким образом, наша героиня создала себе свой собственный мир. Это был мир приключений, сыщиков и журналистов, расследующих запутаннейшие дела, работающих в знаменитых газетах; мир тайн, изящных преступлений, благородных разбойников и негодяев. Мир, выращенный сэром Артуром Конаном Дойлем, госпожой Агатой Кристи, господами Майном Ридом, Джеком Лондоном, Даниелем Дефо, Джоном Рональдом Руэлом Толкином, сэром Вальтером Скоттом и, наконец, современными детективщиками и фантастами. Такой мир был практически нежизнеспособен, потому что так же мало походил на реальность, как розовые котята с поздравительных открыток похожи на ободранную серую кошку, потерявшую в уличных боях половину уха, жадно глотающую рыбу требуху на заднем дворе маленькой провинциальной столовой.

А пока наша Писательница была занята этим миром, действительная жизнь никуда не девалась, она протекала рядом, постоянно давая знать о своём существовании. Окончив среднюю школу с тройками, наша героиня поступила в институт, который располагался тут же, в родном городке. Её родители долго не размышляли, куда далее направить путь их дочери, и направили его через пару улиц, через дворы, к центральной площади города, где и было это учебное заведение.

Не находя её способной ни к одному роду общественно полезной деятельности, родители подали документы на филологический факультет. Так, в общем-то, они попытались определить свою бедовую дочь в сложном взрослом мире, думая, что она хотя бы получит профессию и сможет работать учителем, однако этим наделали себе ещё больше проблем. Они никак не помогли ей обратиться к реальности, а наоборот: на филфаке она попала в компанию таких же романтиков и мечтателей.

...В один солнечный сентябрьский денёк, ещё не пройдя всех бюрократических мучений, которые сопровождают первокурсника в начале учебного года, наша героиня сидела на подоконнике третьего этажа. Так получилось, что на соседнем подоконнике сидел Критик и был погружён в глубокую задумчивость: идти ему на лекцию по методологии преподавания русского языка или не идти? Предмет был скучен, и он там мог только спать. Из пасмурных размышлений его вывел высокий девичий голос с соседнего подоконника, увлечённо что-то

рассказывающий. «О, какая-то новая детективная история, – заметил про себя Критик, – интересно, чья она?» Ему понравилось, и он решил не идти на методологию.

...Тут немножко нужно уйти в сторону и сказать пару слов о Критике, которые он сам о себе не скажет из скромности. Он не зря именовался Критиком. По складу своего характера этот человек был критически настроенным реалистом. Он обладал развитым чутьём литературного стиля, чутьём текста, помогающим редакторам определить степень обречённости написанного. Он мог с точностью до междометий предугадать, что скажет настоящий критик о конкретном произведении. Графоманов чуял за версту и терпеть их не мог, как и всякий непрофессионализм в литературе. Единственным недостатком Критика было то, что критиковал он только устно, и ничего, совсем ничего не писал...

«Довольно недурно написано то, что она сейчас читает, – подумал Критик после двадцати минут прослушивания. – Вещь свежая, никогда ещё подобного не встречал. Наверное, какой-нибудь начинающий автор... Однако если это книжка начинающего писателя, то это очень и очень неплохо». Он не решался прервать чтение, хотя его съедало любопытство, кто же автор. «Нет, – решил Критик через десять минут, – она не читает, она рассказывает. Очень хорошо и складно рассказывает какую-то интересную штуку. Что же это за книжка?» Тут он не выдержал, соскочил с подоконника и подошёл к девушке.

Перед ним сидела коротко стриженная девочка-подросток, в огромных очках с толстыми линзами и в чёрном брючном костюме. На ногах её были забавные поношенные лаковые ботинки прямоугольной формы. Тёмно-русые волосы торчали в разные стороны, а на тоненьком личике заметны были следы прыщей. Это чудо смотрело за окно и, что-то перебирая всплывшую в своём потрёпанном кожаном рюкзаке, увлечённо рассказывало самой себе детективную историю.

– Извините, если помешал вам... – услышала за своей спиной Писательница и обернулась.

Перед ней стоял взрослый высокий дядя с длинными рыжими волосами, аккуратно убранными в хвост, и такой же рыжей кудрявой бородой. Дядя удивлённо и слегка растерянно глядел на Писательницу добродушными, по-кошачьи зелёными глазами и мягким голосом говорил:

– Извините меня, возможно, я помешал вам... – тут дядя немного задумался, как следует обращаться к девочке – на «вы» или на «ты», но потом решил быть вежливым до конца: – Вы тут рассуждали вслух, извините, я тут недалеко сидел и услышал то, что вы говорили. Вы, надеюсь, меня простите, я вовсе не хотел подслушать... – Писательница слушала Критика и всё не могла понять, что же он от неё хочет, но спросить об этом не решалась. А тот тем временем продолжал: – Скажите... Можно присесть? – спросил он и, не дожидаясь ответа, запрыгнул на подоконник рядом с Писательницей.

– Можно, – наконец сказала она, когда Критик уже расположился и приготовился говорить.

– Скажите, – начал он, погладив бороду, – а кто написал то, что вы сейчас рассказывали?

– Я, – нахмурила брови Писательница. Она всё ещё удивлённо смотрела на Критика.

– Правда? А можно почитать?

– Нет, – холодным тоном произнесла она, пытаясь так избавиться от незнакомого собеседника.

– Почему?

– Потому что эта история не записана, – слегка раздражённо ответила Писательница.

– А почему вы не запишете?

– А почему вы спрашиваете?

Вопрос поставил Критика в тупик. Он забыл представиться и узнать её имя.

– Ещё раз простите, меня зовут Евгений Онегин, как персонажа...

– Очень приятно, Татьяна Ларина! – засмеялась Писательница и пожала ему руку.
– Нет, – усмехнулся Критик, – вы меня неправильно поняли, я в самом деле Евгений Онегин.

– А друга по имени Владимир Ленский у вас нет?

– Нет, Ленского, знаете ли, не имеем, но вообще поэты есть. Да и писателями тоже не обделены.

Писательница удивлённо подняла брови:

– И откуда у вас такие друзья?

– С филфака. Вы ведь тоже здесь учитесь?

– Здесь, на первом курсе.

– Не знаю, успели вы познакомиться или не успели, ну вот, есть у нас пишущие люди... Человек десять... Мы собираемся почти каждый вечер, обсуждаем написанное или ненаписанное. Вообще говоря, у нас очень дружеская обстановка, иногда мы даже вместе сочиняем что-нибудь, иногда даём разные спектакли. У нас ведь есть те, кто и пьесы пишет...

– А вы что пишете?

– Я... Ничего. Я критик.

– А!.. Вы критик, – задумчиво произнесла Писательница. – А я-то думала, почему вы так заинтересовались моей историей.

– Я полагаю, здесь любой из нас заинтересовался бы, – улыбнулся Критик. – И давно вы пишете?

– Давно, – кивнула Писательница, – только я не пишу, я просто сочиняю. У меня нет записанного.

– Почему?!

– Не знаю, – грустно улыбнулась она, будто тоже сожалела, что ничего не записывает.

– Как же так? Столько хороших вещей пропадает зря. Так нельзя, записывайте уж, пожалуйста.

Этот совет Критика заставил её покраснеть. Она потупила взгляд и замолчала.

– Есть у нас тоже один, который не записывает, – захотел развеять сгустившиеся над ними тучи Критик. – Тоже небеса ему даровали немалый талант и, вы знаете, тоже к детективным историям. Он учится со мной на одном курсе, на третьем, так от него текстов не добьёшься. Сколько я его знаю, он написал всего-то рассказов пять, а придумывает их, как вы, на ходу. И не записывает, и забывает, так что хоть сам ходи за ним с тетрадкой и пиши!

Писательницу развеселил рассказ о непишущем писателе, она улыбнулась. В это время из соседней аудитории повалила толпа студентов: кончилась пара.

– Кстати! Сейчас я вас и познакомлю с Профессором! – воскликнул Критик, спрыгивая с подоконника и хватая за руку Писательницу.

– С каким профессором?

– С Артуром Карницким.

– Я такого не знаю. А что он преподаёт? – успевала только спрашивать Писательница, пока Критик тащил её за руку к аудитории.

– Он ничего не преподаёт. Это писатель.

– То есть как? Профессор – это писатель?.. Ничего не понимаю.

– Профессор – это его прозвище... Вот, кстати, и он, дружище Карницкий! – воскликнул Критик, приветствуя такого же высокого человека, но только без бороды и даже без усов.

Карницкий был бледен лицом, черты его тонки, мягки и выразительны, и, если бы не широкие плечи и крепкое телосложение, его можно было бы путать с девушкой в мужской одежде. Он не носил очков, но Писательница, которая их носила, сразу поняла, что видит Профессор не очень хорошо: пытаясь сфокусировать зрение, он щурил большие серые глаза, когда с доброй усмешкой рассматривал её. Карницкий давно не стригся, и на голове его выросла

пышная шапка тёмно-русых волос, таких же, как и у Писательницы. На неё новый знакомый произвёл приятное впечатление, даже, кажется, более приятное, чем Онегин: этот не был странным и внушал доверие.

– Знакомлю, – произнёс Критик после взаимного разглядывания Писательницы и Профессора. – Артур Карницкий, Профессор.

– Очень приятно, – улыбнулась девочка.

– Татьяна... Правильно я говорю?

– Катя, – она протянула руку Карницкому, – Катя Толстая.

– Писательница, – добавил Критик.

Глава первая, в которой писатели проводят литературный вечер

С момента знакомства Писательницы и Профессора прошло около года. Осень в этом году выдалась ранняя, и уже к концу сентября деревья совершенно озолотились. Ветер качал их за окном маленькой квартирке, где жил Профессор, хватал с них хрупкое шуршащее золото, носил по улицам, роняя в грязные, отражающие розовое небо лужи. Это была осень, наверное, такая, какой любил её гений, создавший героя, имя которого носил наш Критик. Это была такая же осень, как двести лет тому назад, так же располагала она к писательству.

В гостиной Карницкого собралось только четверо из писательского общества: Критик, Поэт, Драматург и сам Профессор. Были осенние мохнатые сумерки, за окном садилось красноватое солнце, в комнате, полутёмной, не включали верхнего света, потому что его не любил Профессор, и, пока не укатилось ещё дневное светило за горизонт, спрятанный за городскими домами, сидели без света вообще.

Ждали Писательницу. Критик расположился на старом диванчике с потёртым гобеленовым покрывалом, Профессор и Драматург отдыхали, развалившись в креслах. Дым от сигарет и трубки почти заполнил комнату. На журнальном столике, стоявшем между креслами, стояли две уже пустые бутылки белого вина, бокалы, пепельница и две плитки горького шоколада, одна слегка надъеденная Поэтом.

Профессор, хранитель писательского общества, пытался сделать всё, чтобы такие вечера были как можно больше похожи на то, что читал он в книгах. Поэтом, наверное, были вино, трубка и полумрак.

Поэт, светловолосый юноша с нежным румянцем на щеках и пушистыми бакенбардами, декламировал свои стихи, дирижируя правой рукой. Его высокий голос эхом раздавался в комнате.

– О, любимая!.. Куда уходишь ты от меня?.. – восклицал Поэт с патетическим выражением, возводя голубые очи к потолку.

«Интересно, кто эта любимая? Которая из последних пяти?» – добродушно посмеивался про себя Критик, выдыхая дым.

– Вернись, вернись, мой херувим, моя мечта! – взывал Поэт. – Как ты божественна, прекрасна и чиста!

«Нет, к вам, Вольдемар Сергеич, она точно не вернётся, – улыбался Онегин, отводя глаза в сторону, – знала бы ваша мечта, как вы на прошлой неделе наклюкались до потери вашего поэтического облика...»

– Пусть не поймёт меня мир озлоблённый, мне не надо! Любимой принесу стихов громаду! – торжественно закончил Поэт.

Раздались аплодисменты. «Эх, – вздохнув, подумал Критик, – единственное хорошее в его стихах то, что их много. Может, из этого что-нибудь выйдет».

Следом за Поэтом Драматург, тощий, бледный, с длинными, разбросанными по плечам тёмными волосами, положив локоть на ручку кресла, начал рассказывать писателям сюжет новой пьесы.

– Как я вижу, должна получиться история двух немолодых одиноких людей. То есть одиноких совсем – без детей, жены и мужа, без любимых, без родственников. Без друзей... Полное, абсолютное одиночество. Они даже оторваны от родины: оба уехали за границу, действие происходит в небольшом европейском городке. Итак, знакомятся эти двое совершенно случайно, просто их одноместные номера в дешёвой гостинице на берегу океана оказываются по соседству. Они оба покинули Россию, чтобы изменить жизнь. Она художник-живописец, он пианист. Она каждый вечер слышит из его номера музыку, а он видит её рисующей на веранде.

Наконец они сталкиваются у дверей своих комнат, она роняет этюдник, из него рассыпаются баночки с красками, и оба начинают их собирать... Они встречаются взглядами: у них одинаковые глаза. Они смотрят друг другу в глаза больше минуты, наконец он подходит ближе и обнимает её, она тянется к его губам... И они соединяются в долгом поцелуе. – Тут Драматург сильно краснеет, так, что щёки его покрываются красными пятнами, которые видно даже в полумраке комнаты. Он закуривает новую сигарету и, справившись с волнением, продолжает: – Это не любовь. Они просто бегут от постоянного одиночества, которое преследует их по пятам. Теперь они постоянно вместе, переселяются в двухместный номер, но спят на одной постели, как будто боясь потерять друг друга. Они называют друг друга на «вы» и по имени и отчеству, хотя было уже много поцелуев. Они ночуют на одной кровати, но не занимаются любовью... – Теперь покраснели все; Профессор, пытаясь скрыть свой конфуз, ещё во время рассказа встал с кресла, подошёл к окну, распахнул его и стал попыхивать трубочкой прямо в темнеющее небо.

«Ещё одна абсолютно нежизнеспособная история, – спрятав смущение, подумал Критик, затягиваясь сигаретой. – Странная у него манера: вместо того, чтобы исследовать людей, он уверил самого себя, будто изучает свою душу, но при этом в пьесах выставляет только плоды фантазии. Более того, все эти картинки: два одиночества, веранды, падающие баночки с красками – всё это так узнаваемо...»

Во время длинной паузы оглушительным звуком в вечерней тишине раздался дверной звонок. Это была Писательница, все вскочили с мест. Профессор бросился открывать.

– Ну наконец-то! А мы уже заждались, – послышалось из передней. Через пару мгновений в гостиной появилась Писательница в сопровождении Профессора.

– Извини, Кейт, – сказал он после шумных приветствий, – вино тебя не дождалось. Устраивайся, как тебе удобнее. Кстати, остался ещё шоколад. Хочешь кофе?

– Сделай мокко, пожалуйста, – улыбнулась Писательница.

Устроившись в кресле Профессора и прихлёбывая горячий кофе из чашечки с толстыми стенками, она начала повествование. К великой радости Критика, Писательница была в ту осень увлечена новым рассказом, который решила наконец записать и уже делала кое-какие черновики.

Она довольно сильно изменилась с того времени, когда мы последний раз её видели. Во-первых, сменила рюкзак на не менее удобную сумку и поношенные ботинки на какое-то подобие женских туфель, только совершенно без каблука. Во-вторых, поменяла брюки на длинную юбку до пят. В-третьих, решила отрастить волосы и немало продвинулась в этом отношении: она собирала их в хвост, как это делал Критик. У неё уже не было прыщей, но смешные гигантские очки ещё сидели на её носу, и это не давало писателям забывать, что она всё та же.

Наша Писательница выросла за этот год из подростка в девушку лет шестнадцати, но стала ли она дамой – это была та ещё загадка, которую не смог бы, наверное, разгадать всевидящий и всезнающий Холмс. Поговаривали, что она влюбилась, и даже называли избранника, но сама Писательница утверждала, что это всё наглая ложь, а Профессор почему-то сильно покраснел, когда об этом говорили при нём.

Поведение Писательницы осталось прежним, свои детективы и разговоры с собой она ни на что не променяла. Она также много пила «что-нибудь покрепче» вместе с писателями, иногда напивалась так, что Профессору или Критику приходилось приносить её домой, но чаще всего в таких случаях она ночевала под присмотром Профессора там же, где и заканчивался вечер. Писательница курила трубку по примеру Карницкого, кого считала своим наставником и старшим братом. Её фантазия была такой же необузданной, голова такой же бредовой и бедовой, манеры резкие, нагловатые и по-прежнему детские. Она легко и безнаказанно могла проказничать и шутить, разыгрывать своих лучших друзей – Профессора и Критика. Новое, что

появилось в ней, – увлечение всякими женскими штучками: она напоказ носила кружевные чёрные перчатки до локтя.

Через полчаса после того как пришла Писательница, Поэт поднялся со своего места и, сославшись на неотложные дела, попросил разрешение покинуть квартиру Профессора. Ещё через полчаса ушёл Драматург. И теперь они остались одни, эти трое закадычных друзей: Критик, полулежащий на диване, Профессор, рассеявшийся на подоконнике и загораживающий собой свет от уличного фонаря, Писательница, уже допившая свой кофе и курящая трубку в кресле.

Уже совсем стемнело. Литераторы не видели друг друга. Профессор предложил зажечь настольную лампу и поставить её на журнальный столик.

– Ну, вы поняли, ребят, – продолжила разговор о своём новом рассказе Писательница, – я хочу сделать не просто детектив, которых в магазинах пруд пруди. Я хочу вложить в него серьёзную идею. Хочу написать трагедию актёрства в реальной жизни, когда человек в повседневности, а не на сцене корчит из себя незнамо что, примеряет на себя ужасающие, порочные маски, а потом уже никто не поверит, что у этого человека есть тонкая душа, что он намного лучше, чем все эти его маски.

Нависла пауза. Профессор вертел в руках давно потухшую трубку и сосредоточенно пытался понять, как клеится такая идея к рассказанному ещё при Поэте и Драматурге детективу. Критик молча стащил с журнального столика пепельницу, уже полную окурков, нашёл место, куда окунуть свой, и закурил новую сигарету.

– Всё это премило и презабавно, – сказал Критик, взяв важный тон, каким могут высказывать своё мнение только критики и редакторы, а также те, кто им подражает. – Но как ты такую идею соединишь с историей о мафиози, которого хотят прикончить его соперники, и как он спасается от них разными способами, наконец попадая в больницу с переломом руки и ребра?

– Легко! – усмехнулась Писательница, высыпая пепел из трубки в тарелку с обёртками от съеденного шоколада, потому что пепельница была занята Критиком. – Друзья мои, – таинственно улыбнулась она, понизив голос, – друзья, наконец-то я воспользуюсь достоянием нашего писательского общества: я позаимствую приём Виктора Романыча! Я раздвою этого мафиози!

Виктор Романыч, называемый в писательском обществе Драматургом, обожал странные сюжеты, в которых герои раздваивались и могли даже встретить самих себя.

– Плагиат! – прыснул хохотом Профессор.

– Дорогая Катрин, – улыбнулся Критик. – Я умываю руки. Я не собираюсь участвовать в краже литературных приёмов. Считайте, что слово «плагиат» произнёс не господин Карницкий, а сам Виктор Романыч. Вы, что ли, до сих пор не поняли, какой он, наш Драматург?

– О, он гроза всех несправедливостей, – послышалось с подоконника, – всех несправедливостей и справедливостей, когда и те, и другие происходят в реальности...

– Он ночной кошмар и ужас для всего повседневного... – подхватил Критик.

– Он ведёт с филистерами непрерывную борьбу, и как, спросите вы? – дурачился Профессор. – Полным с ними несообщением! Что это значит? Всякое обращение к реальности грозит заражением филистерством, что наш Драматург считает концом романтики...

– Поэтому его приёмы так... специфичны, я бы сказал, – продолжая мысль друга, сказал Критик.

Профессор прыгнул с подоконника и подошёл к креслу Писательницы.

– Настолько специфичны, Кейт, что пользоваться ими может только сам Романыч, – произнёс Карницкий, опершись о спинку кресла. – Ну, вы же не такой борец с филистерами, как он, Кейт? Можете молчать, я знаю, не такой, поэтому-то вы и предлагаете такую обыденность – своровать приём. Как вам не стыдно, милочка...

Критик хохотал.

– Да ну вас, господа, – улыбаясь, махнула на них обоих рукой Писательница. – Романыч и не узнает, что у него стащили приём. Он никогда не любил моих детективов, поэтому и уходил с вечера, не дослушав. Он не прочитает и этот...

– Бросьте, Кейт, вы его недооцениваете, – усмехнулся Профессор.

– А по-моему, Катрин права, – заметил Критик, – единственный писатель, которого читает наш Драматург, – это он сам. Это же безнадёжный случай. Вы сами говорили, уважаемый Профессор, что, если гений поверит в то, что он гений, он уже перестаёт им быть.

Карницкий ответил не сразу. Ему нравился Драматург своей верой в романтику и в то, что её можно воплощать. Профессор знал, что его приятель графоман, но он уважал в нём стремление жить иначе, жить не как все, которое у того не ограничивалось бесплодными мечтами.

– Не рубите сплеча, – после паузы произнёс хранитель писательского общества. – Да, действительно, Романыч в плане литературы не обладает большими талантами, но он живёт литературой, как немногие из нас. Действительно, он слишком быстро отказывается от реальности, считая её заражённой цинизмом и обывательщиной. Он пока не догадывается, что творчество способно преображать реальность... Но давайте вернёмся к тебе, Кейт. Что же там с этим мафиози? – прервал сам себя Профессор, устроившись в кресле и позволяя Писательнице продолжить.

– Давайте сейчас представим на минутку, что приём никому не принадлежит и я им пользовалась. Смотрите, что у меня могло бы получиться. Существует один и тот же человек, только в двух лицах, ну, как шпион с разными документами, но только эти два лица существуют одновременно в разных местах, как совершенно разные люди. Одним лицом будет этот мафиози, а другим...

– Другой мафиози! – засмеялся Профессор. – И потом в финале, как по Виктору Романыху, они встретятся! И... что там у классиков... А! Вот, у Лермонтова что-то наподобие: «... друг друга они не узнали».

Все трое снова развеселились.

– Да нет же, нет, – смеясь, продолжала Писательница. – Другим лицом я предполагаю сделать компьютерного взломщика, хакера, который бы жил в отдельной собственной квартире, занимался бы кражами денег с банковских счетов, разъезжал бы по городу на красном феррари...

– Допустим, красиво, – перебил её Критик. – А сюжет-то с ним какой?

– А! Вот тут начинается самое интересное, – Писательница вошла в азарт, серые глаза её блеснули из-под толстых стёкол очков. – Этот хакер однажды вечером добирается домой на феррари с какой-то местной разборки...

– Ага! Он ещё и в разборках участвует! – воскликнул Профессор. – Ишь ты, какой хакер!

– Так вот... не перебивайте меня, так вот, едет он на феррари и вдруг слышит крики из какого-то переулочка. Он полагает, что опять какая-нибудь шпана или сатанисты убивают животных! А надо сказать, он очень любил животных – у него даже дома ручной волк жил...

– Надо же, волк... – подивился Критик.

– Ну! Дальше! – торопил её Профессор.

– Так вот, хакер бросает феррари, перезаряжает два браунинга, которые носит под пиджаком, и идёт в переулочек. А там темно, хоть глаз выколи. Через несколько мгновений раздаются двенадцать выстрелов, хакер бросает пистолеты, уцелевшие ублюдки спасаются бегством, а он берёт зажигалку посмотреть, кого он спас, зажигает её и видит лежащую на асфальте белокурую девочку. Её волосы грязные, истоптанные ногами этих придурков, но понятно, что они совсем белые. Хакер берёт девчонку на руки, она совсем маленького роста, даже меньше, чем я, и на феррари он везёт её в больницу.

– Прекрасно! Великолепно! Charmant¹! – воскликнул Критик.

– Ну дальше! Что же было дальше?! – поторапливал Писательницу Профессор, который из студента четвёртого курса превратился в мальчишку, обожающего остросюжетные истории.

– Дальше, когда он привозит её в реанимацию, он знакомится там с красивенькой медсестрой, которая не прочь закрутить с ним роман. Он даёт ей свой номер телефона, чтобы та позвонила ему, когда очнётся девочка, но он же знает, для чего ей нужен номер. Он ловелас, у него было очень много любовниц, поэтому, когда она позвонила ему среди ночи, он всё сразу понял. Он приехал в больницу, девочка была ещё без сознания, медсестра сама затащила его в какое-то помещение и... Ну вы меня понимаете...

Даже при свете настольной лампы было видно, что Критик и Профессор очень смутились. Ни у кого из них не было любимых женщин, а саму Писательницу они воспринимали больше как друга или младшую сестричку, но не как даму. Критик опустил глаза, ковыряясь потухшим окурком в пепельнице, боясь вытряхнуть из неё всё содержимое. Профессор сделал вид, что ничего особенного не происходит, и, будто извиняясь, произнёс:

– Ну а дальше что было?

– Дальше? – переспросила Писательница, очнувшись от смущения. – Дальше... А дальше пока ничего не придумано, только концовка. В общем, эта девочка – её звали Мечта – погибает от пули снайпера. Потом хакер сидит на её могиле и, целуя холодный гранит, говорит, что любит её.

Все молчали. Писательница подняла взгляд на сидящего напротив Профессора, наполненный столь неожиданной нежностью, что тот, смутившись, опустил глаза. Писательница поняла, что делает что-то не то, и, пытаясь сгладить неловкость, зевнула и как ни в чём не бывало спросила:

– Может, кофе?

Профессор послушно встал и, не глядя на подругу, направился на кухню заварить его. Вскоре чёрный крепкий кофе без сахара, как любили все трое, стоял на журнальном столике в крошечных чашечках.

– Я за собой начинаю наблюдать некоторые странности, – сказал Профессор, отпивая из своей чашки, – иногда мне представляется, как будто всё происходящее уже когда-то было...

– Déjà-vu, – протянул Критик.

– Да, возможно, и так, – согласился Карницкий. – Вот, например, когда я только что варил кофе, мне показалось, что то же самое: кухня, кофе, ночь – всё я уже видел.

– Это, наверное, из снов, – предположила Писательница. – Мне тоже иногда чудится, что совершенно незнакомые места я уже видела, что совершенно незнакомых людей встречала. И про кофе я помню сон. Помнишь, Артур, – имя Карницкого она произнесла с ударением на первый слог, как по-английски, – помнишь, когда тебя впервые напечатали, мы все заснули прямо за столом? Помнишь? Так вот, в тот день я во сне точно так же, как мы сейчас, пила кофе.

Критик и Профессор переглянулись с хитрыми улыбками на лицах.

– Да, ну и приключеньце ты нам учинила, дорогая Катрин, в день празднования Профессоровой победы, – заметил Онегин.

– Я бы сказал – в ночь, – уточнил Карницкий.

Писательница рассмеялась. Все наперебой начали вспоминать события той злосчастной ночи. Для большей связности рассказа мы приведём всю историю полностью.

Примерно год назад, в начале октября, когда на улице ещё было не совсем сыро и осенние дожди не были постоянными, рано утром, до лекций в институте, Критик позвонил Профессору домой.

¹ Очаровательно! (фр.)

– Привет! Поздравляю! – радостно крикнул он в трубку.
– Привет, с чем поздравляешь? – сонно ответил Профессор, разбуженный телефонным звонком.
– Как?! Ты ещё не знаешь?!
– Не знаю. А что я должен знать?
– Ты смотрел сегодняшнюю почту?
– Нет, я только что проснулся.
– Посмотри! Там... Ну ладно, не буду говорить, что там, – сам увидишь.
– Не тани резину, пока я до ящика доползу, столько времени пройдёт. Выкладывай, какие новости?
– Там! В «Литературной губернии»! Ты! На второй полосе!
– Что?!
– Повторяю: твой рассказ, который ты им посылал, опубликовали на второй полосе. Поздравляю!
– Как?!
– Ты что, невменяемый, что ли? Может, попозже позвонить, когда ты проснёшься?
– Не может этого быть!
– Не веришь – сам посмотри. Я-то лучше тебя вижу. Я не мог ошибиться. Да. «Литературная губерния», сегодняшний номер, вся вторая полоса. Жди гонорара и рецензий. Я, может, тоже свою напишу.

Профессор молчал. Он потерял дар речи. Свершилось то, чего просто не могло свершиться. Карницкий решил посвятить жизнь науке, а писательство было лишь его хобби. Он всегда сочинял детективные истории шутя, заранее зная, что ни один редактор даже и читать их не станет, а тут опубликовали. Да ещё и на второй полосе.

В глубине души, втайне даже от самого себя, Карницкий мечтал быть принятым, популярным, читаемым совершенно незнакомыми людьми, мечтал, чтобы, когда он называл свою фамилию, его узнавали. А уж как он хотел увидеть свой текст напечатанным!

Профессор отправил свой последний рассказ под названием «Июльский лёд» в «Литературную губернию» несколько месяцев назад. И сделал это по настоянию Критика. Рассказ был большой, поэтому-то он занял всю полосу и, возможно, был напечатан не полностью. Карницкий был занят всё это время написанием курсовой и совсем забыл про рассказ. И тут, в одно пасмурное осеннее утро, до мелочей похожее на все остальные, он появился на второй полосе областной литературной газеты.

– Ну и чего мы молчим? – прервал тишину в трубке Критик. – Иди отсыпайся, счастливец! Когда придёшь в себя, дай мне знать. И помни, – заключил Критик, перед тем как положить трубку, – ты сегодня проставляешься!

Профессор простоял с трубкой в руках ещё с полминуты. Сначала он просто ничего не понял, затем до него стало доходить, что совершилось нечто невозможное, но потом его критичный ум поставил под вопрос эту нереальную новость, и он решил, что это всего лишь шутки Онегина. Но, несмотря на своё решение, он наспех умылся и спустился вниз посмотреть утреннюю почту. Ящик он открывал дрожащими руками и газеты не разворачивал, пока не принёс их домой. В гостиной он присел в кресло, вытянул из кучи периодики свежий номер «Литературной губернии» и долго рассматривал первую полосу, будто пытаясь рентгеновским зрением увидеть свой текст на второй полосе. Как только он смог справиться с сильнейшим волнением, распахнул газету на следующей странице и зажмурился. Открыв один глаз, он смутно при утреннем сумеречном свете увидел в центре полосы огромными буквами надпись: «Июльский лёд», затем поменьше: «Детектив сезона», и ещё меньше, прямо под названием рассказа: «Артур Карницкий».

На любимый спецкурс по древнегреческому языку Профессор не пошёл. После двенадцати дня на квартиру обрушился град телефонных звонков: узнав, что Карницкого нет на парах, и желая поздравить его, молодые писатели с филфака звонили на домашний и сотовый.

– Почему-то все считали тогда мой опубликованный рассказ нашей общей победой, – говорил уже намного позже Карницкий, вспоминая об этих днях абсолютного счастья.

Критик купил на профессорские деньги целый ящик шампанского, сделал всё возможное, чтобы очистить свою квартиру от родителей дня на два. Созывать всё писательское общество не стали: Карницкий обещал угостить их на свой гонорар, а пока собрались только втроем.

Раннее утро. Солнце только подумывало о том, чтобы всходить. Предраассветные сумерки. Светлое серое небо. И тишина такая, что шёпот эхом разносится по улице.

Профессор всё ещё сидел за столом, допивая вторую бутылку шампанского, и заплетавшимся языком рассказывал друзьям какой-то занимательный случай, какой – он потом не мог вспомнить сам. Вдруг Писательница встала со стула, довольно твёрдым шагом отправилась к окну, запрыгнула на подоконник и громко крикнула:

– Эй! Слушайте, господа!..

Господа подползли поближе к окну и покорно стали слушать.

– Я сейчас докажу, что я не девчонка, а самый настоящий парень, причём ничуть не хуже вас!

Карницкий и Онегин ничего не поняли. Во время их замешательства Писательница ловко распахнула окно и выбралась на карниз. Первым это увидел Профессор – всё действие алкоголя мгновенно улетучилось. Он ринулся к окну схватить сумасшедшую, но не успел: она быстро, да ещё и пританцовывая, двигалась по узкому карнизу к окну спальни. Критик жил на четвёртом этаже.

Срочно нужно было что-то делать. Заметив, что хозяин квартиры тоже протрезвел, Карницкий скомандовал ему:

– Ловите её внизу! – И почти вытолкнул Критика за дверь квартиры.

Сам он вбежал в спальню, распахнул окно со скрипящей рамой и выглянул наружу. Писательница была ещё на карнизе и маршевым шагом шла ему навстречу.

Профессор в ужасе не знал, что кричать ей и кричать ли вообще. Он молча стоял, наполовину снаружи, пока из подъезда внизу с шумом не выскочил Критик.

– Катрин! Осторожнее, Катрин! Ты меня слышишь? – орал во всё горло Онегин и, наверное, разбудил полквартала.

Через несколько мгновений Писательница уже была у самого окна, Карницкий с замиранием сердца как можно крепче схватил её и втащил в комнату. Она повисла у него на шее так, что нос Профессора уткнулся в самую её макушку. Даже от волос Писательницы пахло выпитым шампанским.

– О! Какой пассаж! – воскликнул вошедший в спальню Критик. – Я чуть от страха не помер, а они тут обнимаются.

– Замолчите, – поморщился Карницкий. – У меня голова болит. Отведите лучше нас на кухню. Нужно выпить успокоительного.

Критик сам не знал, где лежит в его квартире успокоительное и есть ли оно вообще, но, когда Профессор нетвёрдым шагом подошёл к холодильнику и вытащил оттуда бутылку водки, он всё понял...

– Да, это было так, – смеясь, произнёс Профессор, когда все воспоминания и переживания были высказаны. – Но теперь ничего нет. Где я, кто я? Разве я пишу для «Литературной губернии»? Или печатаюсь ещё где-то? Да обо мне забыли на второй же день.

– Для того чтобы печататься, нужно писать, – многозначительно заметил Критик, – а кто-то у нас ничего не записывает.

– Мои детективы – это баловство, им грош цена, – парировал Карницкий.

– Ну конечно, а диссертация по филологии – это так важно! – воскликнул Критик. Профессор метнул в него недружелюбный взгляд.

– Ну, ну, дорогие мои, – примиряющим жестом соединяя руки двух друзей, произнесла Писательница. – Скажите, а ведь вправду эта ночная история год назад – прекрасный эпизод для какого-нибудь не менее прекрасного романа.

– Какого романа? – спросил Критик, и в зелёных глазах его появился лукавый огонёк.

– Поживём – увидим, – улыбнулась Писательница.

На этой многообещающей фразе они и завершили свой вечер, медленно перетёкший в сумрачное утро с небом, накрытым светло-серым пуховым одеялом.

Глава вторая, в которой Писательница впервые начинает писать

Почти полгода Писательница работала над своим рассказом. Он получался никак не более двадцати печатных страниц и совсем другой, нежели тот, что был задуман вначале, сюжет которого она рассказывала полгода назад на писательском вечере. Ей таки удалось вклеить в него идею об актёрстве в жизни, но для этого пришлось отказаться от сюжета. Причём пожертвовала она обеими сюжетными линиями и очень об этом сожалела. Наша Писательница, вообще говоря, о многом стала сожалеть.

Писательница изменилась, и по её рассказу можно было проследить эти перемены. В нём главным стал не сюжет, а идеи. Сюжет как бы и не двигался: рассказ состоял только из статичных и полустатичных картин, пространных описаний каких-то необыкновенно красивых пейзажей, интерьеров и сцен. У нашей Писательницы вдруг откуда-то взялось присущее всем романтикам чувство прекрасного. И что особенно важно: она стала писать совершенно о другом. О том, что воспевали Поэт и Драматург. Она стала писать о чувствах. Наша героиня сама испытывала какие-то непонятные, смутные чувства, как-то совсем по-другому начала ощущать мир и, замечая это, очень сожалела.

Она смотрела на себя в зеркало и не узнавала эту стройную миниатюрную девушку с длинными вьющимися волосами, отражающуюся в нём. Она уже не могла спокойно высмеивать свои новые причуды: их стало слишком много. Маленькие аккуратненькие каблочки, туфельки с бантиками, платья с цветочным узором, открытые плечи, шали, кольца, косы и ленты. Это была совершенно другая писательница, наподобие двух блондинок в писательском обществе, что пишут любовные романы в три-четыре печатных страницы. В ней не осталось вроде бы уже ничего от прежней, даже очки исчезли с её лица, их заменили контактные линзы. Тогда все увидели её большие серые глаза.

Всё это Писательница в себе замечала, и ей было очень стыдно. Как будто кому-то дала слово не изменяться и не сдержала его. Поэтому наша героиня с ещё большей силой пыталась доказать своим друзьям, что она всё та же. Писательница стала ещё больше шалить, пропускать занятия или приходить на них в нетрезвом виде или с бутылкой чего-нибудь в руке, так что в деканате поговаривали о её отчислении. Однажды Писательница поспорила с одним из небедных студентов, что выпьет две бутылки вина сразу. Причём она выиграла пари, а на полученные деньги устроила ещё один винный пир, пригласив на него всё писательское общество.

Теперь имя второкурсницы Кати Толстой, которую кто называл Кейт, а кто и Катрин, стало известно всему факультету, а сплетни поползли и дальше, наконец дошло до того, что она стала предметом для разговора во всём институте. Некоторые восхищались ей и пробовали подражать. Некоторые, особенно те, кого называют «слишком девочками» или просто «блондинками», осуждали её и плели о ней сплетни.

Профессор никогда бы и не подумал, что его названная сестрица доставит ему столько хлопот. Он и Критик, да и вообще все писатели, которые всегда во всех спорах принимали её сторону, устали защищать её от насмешек за глаза. Если же кто-то осмеливался сказать ей что-то в глаза, она всегда находила что ответить. Этому она научилась у Профессора. Поэтому решались далеко не многие.

Что-то странное творилось с нашей Писательницей. И это замечали все её близкие. Намёк на отчисление не на шутку напугал родителей, а когда они пытались провести с ней воспитательную работу, она сбежала. Просто взяла и ушла из дома к Профессору, забрав кое-какие вещи и ноутбук. Названный брат, конечно, приютил её, но потом вынужден был выдать перепуганным родителям.

Но порой она была печальна, просто сидела у окна и смотрела на простирающуюся в обе стороны аллею главной улицы города, как по ней, особенно вечером, после работы бегут молодые люди и девушки. Смотрела на влюблённых, назначивших свидание прямо перед её окном. И думала.

А иногда, сидя в кресле, она глядела на стоящего рядом Профессора каким-то странным и нежным взглядом. Карницкому в такие моменты становилось не по себе.

В один февральский морозный вечер по аллейке, засаженной дубами, медленно шли Писательница и Профессор. В руках они несли пакеты с книгами, только что купленными на книжной ярмарке.

Крупными чистейшими хлопьями, кружась, падал снег и серебрился в лучах заходящего розово-фиолетового солнца. Оно уже почти закатилось за горизонт между домами, и те отбрасывали длинные синие тени. Зажглись жёлтые фонари.

– Не знаю, как ты, но я люблю книжки без диалогов, – говорил Профессор, размеренно вышагивая по присыпанной снегом дорожке.

– Ну, понятно, привык, наверное, читать своих Аверинцевых и Гаспаровых, – засмеялась Писательница. Она была счастлива: приобрела полное собрание сочинений их с Профессором любимого Дойля, её обожаемую Агату Кристи и её новую страсть – Шарлотту Бронте.

– Нет, – улыбнулся Карницкий, – книга без диалога производит какое-то приятное впечатление. Сразу видно, серьёзно написано. И точно можно её читать. А то – диалоги... В стиле бульварных романов.

Писательница чуточку помолчала, подумала: говорить ему или не говорить? И сказала:

– А у меня в рассказе пока нет ни одного диалога. И не будет. Надеюсь, так получится. Ну там есть, конечно, слова героев, но они по-другому оформлены. Не как прямая речь.

– Это же прекрасно! – удивляясь, воскликнул Профессор. – Правда, Кейт, это очень хорошо... Да, хорошо.

Замолчали. Иногда писатели любили молчать: так можно было спокойно подумать о чём-то своём. Тут Карницкий заметил в руке Писательницы пакет с книгами. Что ж это она несёт его сама?

– Кейт, давай я помогу, – сказал он и отнял у неё пакет. – Совсем забыл.

Писательница удивлённо на него посмотрела, а потом продолжила прерванный разговор о книгах:

– Я вот в своём рассказе всё время пытаюсь избавиться от речевых штампов. Ну скажи, как лучше написать: «шёл дождь» или «лил дождь»? – спросила она и сразу предложила свой ответ: – По-моему, лучше «лил дождь», потому что «шёл дождь» – это штамп, и, на самом деле, как может дождь идти? У него что, ноги есть?

Профессор улыбнулся и задумался. Писатели сели на заснеженную скамейку, перед этим её расчистив перчатками.

– А по-моему, одинаково: что «шёл дождь», что «лил дождь». И так, и так можно, – ответил Профессор, закуривая трубку.

– Ну, написать можно что угодно. И Поэт наш тоже пишет, и блондинки тоже пишут. Другое дело – как, – усмехнулась Писательница, блуждая глазами по перьевым кронам деревьев. – Я, когда пишу, куда-то просто пропадаю. Как будто меня нет вообще. Я не замечаю времени. Да я вообще сейчас времени совсем не замечаю. Живу вне времени, вне пространства... Знаешь, я сейчас всё это говорю, потому что постоянно только и думаю о своём рассказе. Меня сейчас вообще только одно интересует – мой рассказ. Меня сейчас совершенно не волнует, что я ем, как я сплю, мытые у меня волосы или не мытые, как я одеваюсь... Всё это я делаю будто на автопилоте.

Профессор внимательно посмотрел на Писательницу. Густые волнистые волосы её были чистыми и, разбросанные по плечам, блестели из-под навалившегося на них снега. Маленький серый беретик съехал на затылок, обнажив её белый и высокий лоб.

– Такого раньше со мной никогда не было. Я перечитываю только что написанный эпизод и думаю: «Это я написала или не я?» Я думаю, что я так никогда уже не смогу писать. Это будет последний рассказ.

Профессор испугался, подавился дымом и закашлялся.

– Как последний?! – прохрипел он.

– Ну, не совсем последний, а последний именно так написанный, – поправила сама себя Писательница. Она сидела, подперев подбородок ладонями, а потом встала со скамейки. – Я так больше не смогу написать: такой стиль вынимает у меня столько сил, что я больше одного эпизода в день писать не могу.

Она ходила вокруг скамейки, всё время заинтересованно поглядывая на коротенький клочок льда на дорожке.

– Артур, – хитро улыбаясь, обратилась она к Профессору, который задумчиво курил или просто порой грыз мундштук, – вы не поддержите меня? Я хочу прокатиться.

Карницкий взглянул на лёд и усмехнулся:

– Кейт! Какой же вы ещё ребёнок! – А потом встал и, прикусив мундштук, не разжимая зубов, добавил: – Давайте руку.

Писательница кокетливо подала ему свою маленькую ручку, изображая из себя благовоспитанную барышню. Он принял её руку и побежал вместе с Писательницей ко льду.

– Катитесь! – прокричал ей Профессор и в самый страшный для неё момент вступления на лёд выпустил её руку.

– А-а-а! – крикнула Писательница, тут же поскользнувшись, пролетев несколько метров по ледяной дорожке и приземлившись прямо в сугроб. Профессор хохотал, стуча зубами о мундштук.

– Ах вы негодяй! – смеясь, набросилась на него с кулаками Писательница. – Какой же вы джентльмен, когда позволили даме так некрасиво упасть?! И ещё гогочете как гусь!

– Это я гусь?! – прыснул Карницкий, выронив-таки трубку из рук. – Сейчас я с вами разделаюсь!

– Посмотрим, кто кого! – умильно пригрозила Писательница и первая бросила в Профессора снежный комочек. Снежок попал Карницкому по руке, и тот не заставил себя ждать с ответом.

– Ну, держитесь! – крикнул он и помчался за подругой.

Писатели гонялись друг за другом по аллее, бросаясь друг в друга снежками. В конце концов, оба лежали навзничь в сугробах, все в холодных тающих хлопьях, и смотрели на деревья, опускающие на них ветки под тяжестью снега, и на снежинки, падающие на них с уже тёмного неба.

– Мда... – смахивая снежинки с носа, протянул Карницкий, с румяными щеками, потерявший где-то свою кепку, и продолжил рассуждать о писательстве: – А у меня несколько другая история. Хотя Сомерсет Моэм и говорил, что достаточно писать по три часа в день, я предпочитаю писать весь день, с утра до вечера, с перерывами разве что на обед и ужин. Но я постоянно занят, и времени у меня на литературу не так много, как у того же Моэма, который мог позволить себе писать каждый день. Поэтому я мало пишу. Мне для этого каникулы нужны. Причём летом обычно не пишется, потому что жарко. Вот если только плохая погода будет, с дождиком так, чтоб можно было весь день сидеть дома, смотреть, как он поливает стёкла, и писать... Зима – самое то для писательства. Но лучше всего осень.

Помолчали.

– Знаешь, а у тебя никогда не было такого ощущения, будто это не ты сам пишешь, а тебе диктуют? – задумчиво произнесла Писательница, положив руки в карманы.

– Было. И есть, конечно. Оно всегда есть, такое ощущение. Постоянно. Кто-то будто водит моей рукой, – говорил Карницкий, наблюдая летящие на него с чёрной выси белые точки. – Кто-то... Я думаю, это Творец. И не каждой рукой водит Творец. Не думаю, что это можно сказать о наших блондинках с их любовными романами. И это большой дар, когда твоей рукой начинает вести Творец. И не всякому он дан, этот дар... Знаешь, Кейт, я, может, только из-за того и придумал писательское общество, чтобы те, кому это дано, не потеряли его.

– И правильно сделали, – подтвердила Писательница.

Они опять замолчали. Каждый думал о своём: она – о рассказе, он – о писательском обществе.

– А ты знаешь, я недавно разгадала один писательский секрет, – Писательница нарушила тишину, воцарившуюся на опустевшей аллее.

– Какой? – заинтересовался Профессор и попытался приподняться на локте, но ещё больше погрузился в снег.

– Я думаю, что хорошее литературное произведение должно содержать в себе все виды искусства. Например, образы должны быть красочными и яркими, как в живописи. Эпизоды – как в кино. Движение сюжета – как танец. Ещё в произведении должна быть своя музыка. Своя мелодия, которой подчиняется сюжет. И когда найдёшь эту мелодию, эту нужную тональность, то всё пойдёт само собой. Оно из тебя как будто само выливается... А ещё интересно, что писателю приходится быть одновременно и актёром, и режиссёром. То есть влезать в шкуру всех своих героев и при этом говорить «верю» или «не верю»!

– Забавно, – усмехнулся Профессор. – Очень оригинальная идея. Вечно вы что-то нафантазируете!

– Это я-то фантазирую! – иронизировала Писательница, притворяясь обиженной. – Это вы великий фантазёр, вы всегда напридумываете такого... Вот ваш герой Джеральд Дали – тоже сплошная фантазия. Даже имя-то какое!

– И что вы имеете против фантазий? – скорчил серьёзную мину Профессор. – И против моего героя? Сейчас получите ещё одну снежную порцию!

И снежок уже полетел в Писательницу, но она вовремя успела удрать на безопасное расстояние.

– За своего героя я буду драться! – смеялся Карницкий. – Даже с вами, Кейт! И не посмотрю на то, что вы Писательница, да ещё и талантливая.

Профессор взглянул на свою подругу в снежном одеянии и понял, что вместо талантливой надо было назвать её красивой. У Писательницы горели глаза от восторга, щёки и губы зарумянились на морозе, волосы растрепались. Она сжимала в руке берет, который слетел с её кудрявой головы во время снежной битвы. Но Писательница была совсем не похожа на Снегурочку, скорее на Снежную королеву, только добрую.

– Что случилось? – улыбнулась Писательница, увидев замешательство Профессора.

Карницкий очнулся, поморщил брови и, посмотрев на часы, прозаично заметил:

– Пойдём домой.

Писатели нашли на одной из скамеек свои книги и медленно зашагали по заснеженной аллее дальше, домой, приминая пушистый снег подошвами сапог.

Наконец-то в один мартовский вечер был дописан последний эпизод рассказа. Писательница позвонила Профессору.

– Привет! Я его дописала!

– Дописала! Поздравляю! Теперь ты оправдываешь своё прозвище.

– Оправдываю! Теперь я точно Писательница!.. О, ты даже представить себе не можешь, как я сейчас счастлива. Я сейчас весь мир люблю!

– Почему же не могу представить. Ты меня обижаешь! – засмеялся Профессор. – Я очень тебя понимаю.

– Боже, Боже мой, как же я счастлива!.. Я так долго, так долго его писала!.. – восклицала Писательница и, усмехнувшись, прибавила: – Обещаю, что не напьюсь!

Профессор расхохотался.

– Почему же не напьёшься?! Такому случаю не помешало бы шампанское, чтоб пена... чтоб пробка – в потолок! Как у Пушкина. Чтоб штукатурка отвалилась!

Естественно, никаких потолков и пробок не получилось: поздравляли Писательницу и вправду шампанским, но только на воздухе – на физкультурной площадке прямо за её домом и прямо в тот же вечер, вернее ночь, под звёздами. Пробка, вылетая из бутылки, лишь чуть-чуть до них не долетела, слегка покачнув небесный купол. Или это в глазах у Писательницы всё было зыбко и ноги её не держали?

Яркие звёзды с бархатно-синего неба, как жемчужины из неимоверной глубины, смотрели вниз на писателей, и они, даже если бы очень захотели, не смогли бы понять, что радостного нашли эти трое в таком, пожалуй, незначительном событии, как написание рассказа всего-то в пятнадцать печатных страниц.

Писательница отложила рассказ, по совету Профессора, и никому не давала его читать. Только потом, после правки, размножив его, отдала Критику, Профессору, ну и всем остальным в писательском обществе.

Одновременно Писательница отправила его в разные литературные газеты и журналы, даже собственноручно отнесла его в редакцию «Литературной губернии».

Кончился апрель, кончился май. Друзья молчали, но очень многим писателям-первокурсникам рассказ понравился. Молчали и газеты. На них Писательница перестала надеяться.

Она пыталась выудить что-нибудь из Профессора и Критика, но те упорно сопротивлялись, и тогда она поняла, что рассказ не так хорош, как она думала. Когда Писательница надоела Критику своими приставаниями, тот проговорился:

– Знаешь, Катрин, это не то, что ты могла бы написать. Да, есть удача в некоторых эпитетах, метафорах и прочих... Но, по-моему, не надо так красиво. Но это моё личное мнение, и я думаю, нужно бы найти кабана и посмотреть, что он скажет.

Кабаном писатели называли опытных критиков, редакторов или тоже писателей – словом, тех, кто хорошо пишет и разбирается в литературном деле. Ответ Критика Писательницу удивил и совсем не обрадовал. Обычно Онегин любил сам предполагать, что скажет кабан, а тут не решился.

И газеты молчали. Оставалось последнее средство – идти в редакцию общественно-политического «Городского вестника», может, там поместят её рассказ в какой-нибудь литературный уголок.

Глава третья, в которой Писательница знакомится с кабаном и получает рецензию на свой рассказ

И в одно июньское утро во время сессии Писательница отправилась туда. Она никого не знала в этой газете, поэтому и решила идти к самому главному редактору или его заместителю.

Редакция располагалась в центре города, в маленьком двухэтажном строении с большими окнами и плоской крышей, так что оно было похоже на коробку. Стены его были некогда выкрашены в розовый цвет, но сейчас краска поистёрлась и облупилась, а в некоторых местах отвалилась штукатурка.

Кроме газеты, в нём селились ещё пять организаций. На первом этаже его была типография. Маленький уголок занимал магазин автозапчастей. С одной стороны к этому зданию сделали пристройку, в которой разместился салон красоты «Элит-Престиж». Второй этаж делили между собой тоже три организации: редакция газеты, страховая компания и одно из тех обществ с ограниченной ответственностью, которые занимаются сбором денег с горожан за поставку газа в их кухонные плиты.

Писательница сразу поднялась на второй этаж и остановилась в начале длинного тёмного коридора. В нём не было ни души. Наша героиня представляла редакцию газеты шумным пчелиным ульем, где суетятся журналисты, бегая из кабинета в кабинет, в быстром темпе готовятся статьи, здесь же берут интервью, щёлкают затворами фотоаппаратов и непременно дымят сигаретами и пьют много кофе. Но в коридоре редакции стояла тишина. «Может, это из-за того, что я так рано?» – подумала Писательница и решила поискать людей.

Пройдя по длинному пустому коридору со стенами, крашенными тёмно-зелёной краской, Писательница подошла к двери с надписью «Главный редактор» и, постучавшись, приоткрыла дверь. Она ожидала увидеть человека, похожего на Критика, но только старше, с уже поседевшими волосами, в свитере с выпущенным воротником рубашки наружу, в джинсах и с карандашом за ухом. Однако кого же она увидела? За столом сидел очень полный человек средних лет, в сером пиджаке с галстуком, с блестящей чиновничьей лысиной на макушке, и копался в бумагах. Писательница была в замешательстве. «Это – главный редактор? Неужели это он? – подумала она. – Кажется, этот человек в жизни своей ни одной статьи не написал». Ей захотелось тогда только одного – уйти, не оставив рассказ никому.

– Вы ко мне? – обратился к ней толстый дядя, с трудом поворачиваясь в кресле.

– Вы – главный редактор? – робко спросила девушка.

– Я.

– Тогда я к вам, – решила Писательница и переступила порог редакторского кабинета.

– По какому вопросу? – остановил он её, даже не предложив ей присесть.

– Я... Меня зовут Екатерина Толстая. Я учусь в пединституте на втором курсе. Я написала рассказ...

– Простите, но мы литературой не занимаемся. Мы – общественно-политическая газета.

– Извините, что потревожила вас... Но если только прочитаете, не для печати... – Писательница уже и отказалась от мысли о публикации. – Хотя бы только рецензию...

– Нет, это исключено. Я очень занят, и мне некогда читать и давать какие-то рецензии, – равнодушно заключил редактор.

Писательница вздохнула. Но в душе она даже была рада, что ничего не получилось: этот, казалось, не был кабаном.

Задумавшись, Писательница брела по коридору в сторону выхода, как вдруг на неё налетела невысокая худощавая женщина лет сорока с высокой стопкой бумаг в руках.

– Простите, простите, пожалуйста! Ради Бога, простите! – воскликнула женщина, когда бумаги опрокинулись на девушку и разлетелись вокруг.

– Извините... – пробормотала Писательница, подбирая вместе с ней бумаги.

– Простите меня, с этими документами замаялась, – вздохнула она, проведя по лбу тыльной стороной ладони. – Не редакция, а сумасшедший дом какой-то. Шефа сменили, так теперь всё просто кувырком... А вы к кому пришли? К шефу?

– Ну да, к главному редактору, – смутилась она прозвищем «шеф».

– А что вы у него хотели, если, конечно, не секрет?

– Я принесла рассказ, а он отказался даже прочитать его...

– Увы, мы рассказы не публикуем, – улыбнулась женщина. – Вы немножко не по адресу. Вам бы в «Литературную губернию».

– Я там уже была, – вздохнула Писательница.

– И как?

– Ничего...

Женщина помолчала минутку и, поправив съехавшие на кончик носа узенькие очки в чёрной оправе, сказала:

– Думаю, как вам помочь... Знаете, есть у нас один человек, который мог бы прочитать рассказ и, если хотите, мнение своё высказать.

– Да, да, пожалуйста! – обрадовалась Писательница.

– Давайте ваш рассказ, я ему передам. Его нет сейчас в редакции.

Писательница передала женщине папку с рассказом.

– Мы не познакомились. Я Лидия Ивановна, ответственный секретарь, а вы?

– Екатерина Толстая. Там написано.

Через неделю, как было условлено, Писательница снова пришла в редакцию, но теперь уже в самый разгар рабочего дня. В коридоре находилось много народа и было очень шумно. И журналисты действительно перебегали из одной двери редакции в другую с рукописями и чашками в руках.

– Где я могу найти Александра Алексеевича Щукина? – спросила она у невысокого мужчины средних лет, который показался ей наиболее имеющим отношение к писательству, потому что был в джинсах и рубашке навыпуск без галстука. А ещё у него были длинные чёрные волосы с проседью, собранные в хвост, на загорелых щеках росла щетина, а карие глаза смотрели на незнакомку живо и доброжелательно. Этот-то и был похож на Критика.

– Я к вашим услугам, – улыбнулся он, слегка поклонившись. – С кем имею честь говорить?

Начало Писательнице понравилось.

– Екатерина Толстая, – она протянула журналисту руку.

– Катя! Здравствуйте! Можно мне так вас называть? – воскликнул Щукин, крепко пожимая маленькую ручку в кружевной перчаточке.

– Можно.

– Ну тогда и вы меня называйте Сашей, или Саней, или Шуриком, как угодно, но только не Александром Алексеевичем.

Согласиться было сложно, потому что Писательница звала по имени-отчеству и на «вы» некоторых приятелей из писательского общества, а порой даже Критика и Профессора.

– Я... попробую.

– Хорошо! Пойдёмте ко мне, я вас кофе угощу. Любите кофе?

– Да, можете чёрный без сахара? Или мокко?

– Знаток! – засмеялся Щукин.

Писательница улыбнулась. Два года в писательском обществе не прошли даром.

Щукин привёл её в один из кабинетов без таблички, пропахший табачным дымом. Это была узкая длинная комната с большим окном напротив двери и высоким потолком, испещрённым трещинами. На пожелтевших обоях висела политическая карта России и портрет президента, а на столе среди вороха рукописей, печатных листов и газет стояли сморщенный кактус в горшке и чашка, наполненная блестящими обёртками от шоколадных конфет. Журналист выудил рассказ Писательницы из-под груды бумаг и шлёпнул им по журнальному столику, заставив подпрыгнуть пепельницу с горой окурков.

Писательница присела в одно из кресел у окна. Щукин уже закурил сигаретку и с ней в зубах готовил кофе на маленьком холодильнике, заменяющий ему кухонный стол.

– Давно вы пишете? – спросил журналист, погружившись в кресло.

– Это мой первый рассказ, – ответила Писательница.

– Неплохое начало, – улыбнулся он.

– А... как вам он? – ей не терпелось услышать рецензию, хотя поговорить с внезапно обнаруженным настоящим кабаном тоже очень хотелось.

– Подождите... – поморщился Щукин, отпивая из чашки, – не спешите так. Расскажите лучше, кто вы, чем занимаетесь... Кстати, можно на «ты»?

Писательница кивнула. Она провела пальцем по переносице, будто поправляя невидимые очки, и произнесла отчего-то дрогнувшим голосом:

– Я... учусь на втором курсе у нас в пединституте на филологическом...

– Ага, филфак... – задумчиво протянул Щукин, закуривая сигаретку. – Я тоже его оканчивал.

– Да? – удивилась писательница. – Но я, знаете...

– Зна-ешь, – поправил её журналист.

– Знаешь, – выдавила из себя Писательница. – Это мои родители настояли туда поступить.

– Родители... – тихо повторил Щукин, выдыхая дым. – Понятно.

Писательница смутилась. Она не любила говорить о том, что за неё многое решают родители. Она хотела выглядеть взрослой и самостоятельной даже в глазах кабана. И тут ей пришла идея. Извинившись, она наклонилась и достала из своей сумки трубочку. Щукин как открыл рот, выпуская дым, так и остался с раскрытым ртом.

– Ты... куришь табак? – в полном замешательстве спросил он.

– Курю, – усмехнулась Писательница, ловко набивая трубку.

– Однако... – произнёс журналист. Молодые писательницы, курящие трубки, ему ещё не попадались. Щукин стал молча наблюдать, как она её раскуривает.

– Да, в общем-то, родители меня заставили поступить на филфак. Я вообще не хотела тогда учиться. Школу еле вынесла, – рассказывала Писательница, пуская колечки. Сигарета журналиста сгорела уже до самого фильтра. – Да и сейчас думаю, что бы сделать, чтобы заставить родителей не доставать меня учёбой... Вот... Первый рассказ... Я до этого лет десять, наверное, только сочиняла, но ничего не записывала.

– А что, если не секрет?

– Детективы, – сказала Писательница, заранее зная, что Щукин ей не поверит.

– Чего-то не верится, судя по прочитанному, – усмехнулся он.

– Что ж, верьте на слово, – улыбнулась девушка, выпуская колечко дыма. Оно легко поплыло вверх и растаяло. – Может, поговорим о рассказе?

– Ну давай, – поддался Щукин и взял распечатку со стола. Он был всё ещё очень поражён. – Начнём, пожалуй, с хорошего: писать ты умеешь. На энное количество страниц тебя хватило, – улыбнулся журналист. – Дальше всё гораздо сложнее: ты умеешь писать всякими непростыми предложениями с множеством придаточных, с причастными оборотами... И из-

за этих непростых предложений текст усложняется так, что только с третьего раза начинаешь понимать, о чём это всё. А вообще, о чём это? Ты можешь сказать?

– Ну... как лучше выразиться... там же две идеи, о том, что в современном мире так мало осталось мечты и...

– Да нет же, нет, тема какая? Двумя словами.

Писательница затруднялась ответить. Это было в её рассказе, а написан он был уже три месяца назад, и она с трудом вспоминала то, чего в ней уже не было, а вылилось на бумагу.

– Мечта и актёрство, – девушка нашла подходящее.

– Понятно, – произнёс Шукин, хотя на самом деле ему ничего не было понятно. – И что они там делают?

– Кто?

– Ну, мечта и актёрство?

– Странный вопрос, – смутилась Писательница. – Я же говорю, рассказ о том, что в современном мире уже почти нет мечты...

– Почему? – стряхнул пепел кабан. – С чего ты взяла, что нет?

Писательница молчала. Она не знала, что ответить. В самом деле, а с чего? Она только чувствовала или в писательском обществе её научили, что мир вне квартир, в которых проходят писательские вечера, полон филистеров.

– Мне так кажется, – решила она.

– И знаешь, – не обращая внимания на её ответ, продолжал журналист, – ты немного ошиблась жанром, если хотела написать о том, что в современном мире не хватает мечты. Это тема для хорошего эссе первосортного философа. А у рассказа немного другие цели, у него очень узкие рамки... И... кстати, а что это за мечта такая, которая с большой буквы пишется? Это какая-то платоновская субстанция, что ли?

– Да нет, – усмехнулась Писательница, – просто явление.

– А почему с большой буквы? У тебя там много такого. Вот, например: «Мечта и Лирика сидели ночью у меня на подоконнике...» – он оборвал сам себя и пожал плечами: – Что это такое? Непонятно. И ещё: «В этой комнате подписали смертный приговор Лирике, и казнили Романтику, и низвергли Бога, и плевали на Святость, и подсыпали яду в бокал Душе, и Жизнь была молчаливым свидетелем всему и ушла...» Не надо. Не надо так. Когда начинаешь писать всё с большой буквы, это просто беда. И что это за «чертовка-Жизнь со смоляными волосами»? Чертовка-Жизнь... Хм... Просто беда... А смоляные волосы – это как? Они у неё что, смолой натёртые и торчат в разные стороны?

– Просто чёрные, – засмеялась Писательница.

– Чёрные как смоль – это другое дело. Тут надо тоньше. Будь поосторожнее со словом: у тебя много таких вещей. Например, в самом начале, – кабан перевернул листы, – «Дождь был почти завершён и падал в глубокие лужи по крупичкам...» Во-первых, чтобы дождь был завершён, его должен *кто-то* завершить, во-вторых, крупички предполагают какое-то твёрдое вещество, а дождь таковым не является. Осторожнее, осторожнее со словом. Вот ещё: «...изящный пузатый бокал, на доньшке которого кроваво искрилось красное вино...» – он покачал головой. – Нет, не кроваво; другой цвет. Если это, конечно, хорошее вино, – и улыбнулся.

Писательница тоже улыбалась, удивляясь своей безграмотности. За три месяца чувство любви творца к сотворённому уже успело приутихнуть.

– И всё это: красное вино, трубки, скрипки... Всё это очень узнаваемые образы. «Он целовал её руки...» Хм... Да... И так понятно, что это какие-то особенные ребята, зачем же так много этого всего: «Тут же на столе, также в полном беспорядке разбросаны прозаические тексты... Были здесь и совсем старые, с ятями и ерями, совсем жёлтые, сгоревшие по краям письма, страницы дневников, официальные бумаги... на самом верху стопки книг, трудов классиков истории, философов, богословов. На другом краю стола, защищённые от пролитых чер-

нил китайской вазой с погибающей чайной розой, хранились пергаменты на древнегреческом и древнееврейском... а по соседству с ними лежали те же тексты на русском... Переводы с английского и французского на альбомных листах вложены в книги-первоисточники мало кому известных поэтов романтизма, прикрыты нотными тетрадями с произведениями Шопена, Шуберта, Дворжака...» Что ты варишь? Какой-то слоёный торт получается. Слои за слоями: всё больше и больше, выше и выше... И крем, крем... Зачем так много?.. И твои образы очень узнаваемые. Это ещё большая беда, нежели какие-то там речевые повторы, образцы, штампы. Их и редактор может исправить...

Пауза.

Журналист стряхнул пепел и продолжил:

– Вот... Ничего, пусть полежит, не надо его сейчас никуда... Ты на него потом сама помотришь, подумаешь... Главное – осторожнее со словом. И... Всё это ещё как бы не совсем литература...

– А что тогда? – удивилась Писательница.

– Всё это больше просто отражение твоих ощущений... Похоже на Блока или Бальмонта, только в прозе... А Блок, Бальмонт – это сама знаешь что, – он сделал руками в воздухе круг и издал губами звук лопающегося мыльного пузыря.

«Надо взростеть», – пришло в голову Писательнице.

– Ты как будто вешаешь на всё ярлыки – Мечта, Лирика, Жизнь, а за этим будто ничего нет. Ты не рассказывай мне всё, я сам многое пойму. В рассказе нужна недосказанность. Нет, не то, когда ты ставишь многоточие и всё тут: многоточие – это тоже беда... Смотри, например, когда ты говоришь: «Чертовка-Жизнь покинула эту гостиную навсегда...» Зачем ты мне это говоришь? Ты это покажи, и я сам пойму, что чертовка-Жизнь смоталась отсюда к чёртовой бабушке! Например, пусть в вазе, в которой уже давно высохла вся вода, стоят увядшие цветы, но они ещё до сих пор в целлофане. Тут понятно, а то «чертовка-Жизнь покинула», а этот там сидит, колечки пускает... И ещё: пиши о чём-нибудь конкретном. Напиши, что ли, о его скрипке. Или о той квартире. И, может быть, объём у тебя больше получится.

Кабан придавил окурки в пепельнице и закурил новую сигарету. Писательница уже не прикасалась к своей трубке. Та лежала на столе; табак в ней догорал.

– А ведь самое страшное, что это чертовски серьёзная вещь! – улыбнулся он. – По настроению, разумеется. Рассказчик там, знаешь ли, такой зловещий, так и кажется, что он берёт так тебя за грудки и... – Шукин, выкатив глаза, изобразил зловещего рассказчика, берущего читателя за грудки. – «Ну-ка дай я тебе расскажу!...»

Писательница захохотала.

– Мягче, чуть-чуть иронии. И всё будет в порядке, – напоследок посоветовал кабан.

Писательница пришла к Профессору вечером и слабо постучалась в дверь. Тот открыл тут же, потому что уже долго её ждал.

– Привет... Ты как? – спросил Карницкий, хотя по усталому и расстроенному виду Писательницы сразу понял, что не очень.

Она посмотрела на него как-то тоскливо и, помолчав, тихо ответила:

– Дай мне войти и чуть-чуть отдохнуть, потом расскажу.

Профессор молча впустил её. Дальше она всё делала молча: разулась, сумку оставила у двери, зашла в ванную, умыла лицо и руки, потом на кухню, там налила стакан апельсинового сока и выпила его залпом. Затем попросила у Профессора копию своего рассказа. Получив его, она присела на кухонный табурет и уже веселее, но всё же с какой-то печалью в голосе произнесла:

– Теперь можно начать. Ну... Со мной не всё так безнадежно – безнадежно с рассказом. Писать я умею...

– Я так и думал, что ты это скажешь, – улыбнулся Профессор, присаживаясь на табурет напротив неё.

– Да, писать я умею: на энное количество страниц меня хватило... На этом хорошие новости заканчиваются. – Писательница раскрыла первую страницу рассказа. – Начинаются ошибки: фактические и смысловые. Читаю прямо первую строчку: «Дождь был почти завершён и падал в глубокие лужи по крупичкам...» Ну, во-первых, дождь не может быть завершён, тогда нужен кто-то, кто бы его завершил. Тут, конечно, можно поспорить: Бог мог завершить дождь. Но это так, деталь... Дальше: крупички бывают только твёрдого вещества, а дождь не твёрдый. Крупичками может быть только град, снег... Нет, снег тоже не может... снег – в хлопьях.

Профессор слушал рассуждения Писательницы и одобрительно кивал.

– Дальше он сказал, что волосы не могут быть смоляными: чёрные как смоль – это правильнее. И у вина не бывает кровавого цвета... У хорошего вина... Надо быть осторожнее со словом, почувствовать его тоньше... И ещё надо взростеть. Всё это, весь рассказ – это так как-то незрело. Всё это только моё ощущение мира, это не совсем проза... не эпос, что ли, это больше лирика, лирическая проза. В ней не то представление о художественности. Я говорю прямым текстом: жизнь ушла из этой комнаты, а надо показать, как это проявляется. В рассказе нужна недосказанность... ну, не многоточие, а когда помнишь, как у Гоголя в «Мёртвых душах», когда он описывает дом Манилова: на столе лежит книга с закладкой на четырнадцатой странице, которую хозяин читает уже два года. Тогда можно сказать, что жизнь действительно смоталась от героя к чёртовой бабушке! Вот... И рассказ – это не тот жанр, в котором можно написать о смерти мечты в нашем мире... Философское эссе сюда больше подходит.

Профессор фыркнул, потому что это был его любимый жанр. Писательница улыбнулась, но получилось как-то кисло.

– Мне кажется, я и есть тот трагический, размалёванный актёр из стихотворения Лермонтова. Этот актёр размахивает картонным мечом в разные стороны, но толку от этого никакого. Никто не поймёт, что я хочу сказать в рассказе, никто мне не поверит, все только посмеются. Весь рассказ получился каким-то пафосным... Я кричу на весь свет, что современный мир – это явление кризисное, это царство филистеров, которое вскоре должно рухнуть, потому что оно – колосс на глиняных ногах. Я говорю, что всё лучшее в этом мире погибло, и погибло оно вместе с мечтой, а он сбивает меня одним вопросом: «Почему?» А правда – почему? Глобальной катастрофы ведь нет? Нет. Все живы и продолжают жить? Продолжают. Ведь никто не умер, не сменился политический строй, дефолт не предвещают, все продолжают утром вставать и, как всегда, идти на работу, рожать детей, водить их в детский садик, а потом в школу. Потом дети поступают в институты, заканчивают их и тоже начинают работать. И так далее и тому подобное. Молодое поколение людей повторяет жизнь старшего поколения. И никто от этого особенно не страдает. Все живут по заранее известному сценарию и не переживают из-за этого. Может, в самом деле, не всё с этим миром так плохо, как я об этом написала? Может, я просто сделала из мухи слона? Может, мечта совсем никому и не нужна?

– Ну, конечно, не нужна! – усмехнулся Профессор. – Какая муха? Какой слон? Ты о чём вообще? Бог с ними, с этими обывателями: ну, не поймут, что ты хотела сказать, ну и не надо. Зато мы поймём. Не хочешь писать для них, пиши для нас, для писательского общества. Мы чем хуже других читателей? Что бы ты ни написала, всё мы воспримем с радостью, потому что ты нам дорога, Кейт, ты же наша Писательница.

На глазах Писательницы показались слёзы. Она быстро стёрла их ладонью.

– Посмотри на меня, – продолжал Карницкий, пытаясь её подбодрить, – меня года два назад опубликовали, а толку от этого никакого. Меня так до сих пор никто и не знает дальше нашего писательского общества. И не важно, как тебя оценивают – хорошо или плохо, поймут тебя или нет, главное – не бросать писать, потому что это наш долг. И твой в том числе, Кейт.

Жизнь не останавливается, всё хорошо, – мягко произнёс Профессор и тронул её маленькую ручку в кружевах.

– Давай выпьем, – предложила она, отодвигая руку подальше от Карницкого.

Они купили три бутылки красного сухого вина. Профессор был против такого количества, но ничем своего протеста не выразил: он знал, что если Писательница хочет напиться, ничем её не удержишь.

Первый бокал девушка долго рассматривала на свет и пыталась точно определить цвет искрящегося вина: естественно, оно было никак не кровавым, а скорее цвета вишни, бордовым, тёмно-красным с примесью холодных тонов, но никак не тёплых. На свету его цвет был прозрачно-алым, искрилось оно как рубин. Вскоре рассматривание вина на свет приобрело болезненный характер, и Профессор отобрал бокал у Писательницы. Она налила другой. Карницкий попробовал отпить из отобранного, но, сделав два глотка, понял, что сегодня пить не может.

Да, в эту ночь вино пила только Писательница. Бокал Профессора так и остался полон. Она одна и говорила в этот вечер обо всём: о том, что она переживает сейчас, о рассказе, о том, что очень хочет стать знаменитой, что хочет написать книгу, которая стала бы классикой, о том, что ей надоел институт и она хочет уйти, что очень хочет вырасти побыстрее, набраться жизненного опыта, понять жизнь, разгадать её секрет и писать именно о ней, в реализме, что романтизм, наверное, исчерпал себя, о том, что все её друзья-писатели – прекрасные ребята и ей хорошо в писательском обществе, но хочется чего-то большего: ей хочется глобального признания. Профессор, грустно улыбаясь, узнавал в этом всё более и более бессвязном рассказе свои старые мысли.

Был уже пятый час утра. За окном светлело, а люстра на кухне до сих пор оставалась включённой. На полу стояли две опустошённые бутылки, третья – ещё наполовину полная. Писательница почти лежала на столе, веки её слипались, прикрывая мутные глаза, губы лепетали что-то совсем невнятное. Профессор решил прекратить эту пьяную исповедь, молча взял её под руку и поднял со стула. Но тут же понял, что идти Писательница не в состоянии; тогда он поднял её и донёс до дивана в гостиной. В комнату из-за плотных шёлковых штор проникал утренний холодноватый свет. Профессор укрыл Писательницу одеялом и присел рядом на пол.

Сколько всего разного рассказала сегодня она ему, но так и словом не обмолвилась, что означают эти её странные взгляды на него, приводящие его в сильнейшее смущение. Как будто не смогла перейти границу, отделяющую всё сказанное от этой темы. И Карницкий, конечно, знал, что это за тема, и это знание почему-то доставляло ему огромное удовольствие, в душе вдруг при мысли об этом становилось так тепло-тепло. Но одновременно ему было очень жаль свою подругу.

Писательница лежала теперь перед ним: длинные вьющиеся волосы спутались, локоны падали на её горячее от вина лицо и касались алых бархатных щёк. Веки были накрепко захлопнуты, а под глазами виднелась лёгкая тень от длинных тёмных ресниц. Вроде бы она была такой же, как и два года назад, таким же ребёнком, но что-то очень сильно в ней изменилось.

«Ты... как распутившаяся роза, источающая сладкий аромат... – думал Карницкий, глядя на неё и улыбаясь, – ты слишком свежа и хороша, чтобы чьи-то грубые руки касались тебя... Я никому не дам...» – тут он осёкся, понимая, что его мысли заходят слишком далеко, встал и, пройдясь по комнате, принялся раскуривать трубку.

Глава четвертая, в которой Писательница становится Катей и начинает общаться с филистерами

Писательница проснулась поздно с сильной головной болью, головокружением и неприятной слабостью во всём теле, особенно в руках и ногах. Профессор приготовил завтрак и недопитую бутылку вина. Вид у него был какой-то очень измученный, будто он не спал вообще. У Писательницы после того, как она пришла в себя, был очень виноватый вид, как будто она вчера, напившись, снова ходила по карнизу.

Позавтракав, она села в кресло в гостиной и уставилась в одну точку. Сейчас в её голове шёл активный умственный процесс осмысления всего, что было сказано и сделано вчера. Что говорила она за столом Профессору, Писательница совершенно не помнила. Могла нагородить какой-нибудь чепухи или выболтать лишнее. Она перевела взгляд на Карницкого, пытаясь по усталому выражению его лица понять, что он знает. Лицо его было каменно, он пытался открыть глаза пошире, чтобы они не захлопнулись и он не заснул тут же.

Они просидели молча полчаса, глядя друг на друга, пытаясь угадать чужие мысли. Писательнице было ещё и физически нехорошо, поэтому она старалась не двигаться. Наконец, с трудом выговаривая слова, она произнесла:

– Мне нужна тема...

Карницкий никак не отреагировал. Он думал, что сейчас заснёт.

«Что мне дальше делать? О чём писать?.. Меня сбили с толку, какие темы мне теперь брать? Всё уже исписано до меня, все вечные ценности уже истасканы до дыр», – подумала Писательница, потому что была не в силах сказать это.

Вдруг зазвонил сотовый телефон Писательницы из сумки у двери, да так громко, что оба вздрогнули. Профессор, зевая, принёс сумку недвижимой Писательнице. Она взяла трубку.

– Да! Кто это?

– Алло, привет, Катя! Это Шукин.

– Да, я вас слушаю, – медленно произнесла она. Карницкий, из-за громкости сотового слышавший и ответы Шукина, поморщился. Ещё этого дяди здесь не хватало.

– Катя, у меня есть для тебя работа. Хочешь писать в нашу газету?

Писательница молчала. В её планах не было ни журналистики, ни чего другого, с ней связанного.

– Эй, чего молчишь? Алло!

– Я вас слышу. О чём писать?

– Объясняю смысл работы: ты приходишь ко мне, я даю тебе тему. Это может быть что угодно: политика, проблемы общества, культура... Наша газета больше информативного характера, поэтому, возможно, нужно будет куда-то ездить, звонить, брать у кого-то интервью, проводить социологические опросы. Пишешь дома или где хочешь, приносишь мне, мы отдаём это корректору, он тебя правит. Потом ты ещё раз это смотришь, если что-то нужно исправить самой, исправляешь. Я буду тебе помогать. Да, и это всё, конечно, оплачивается.

Писательница молчала.

– Я подумаю. Потом перезвоню, – решила она.

– Хорошо, подумай. Тебе ещё три дня. Звони, жду! – И отключился.

Писательница молча вопросительно посмотрела на Профессора.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.